



В тот же вечер, когда я вернулся из Ляпинского дома, я рассказывал свое впечатление одному приятелю. Приятель — городской житель — начал говорить мне не без удовольствия, что это самое естественное городское явление, что я только по провинциализму своему вижу в этом что-то особенное, что всегда это так было и будет, что это должно так быть и есть неизбежное условие цивилизации. В Лондоне еще хуже... стало быть, дурного тут ничего нет и недовольным этим быть нельзя. Я стал возражать своему приятелю, но с таким жаром и с такою злобою, что жена прибежала из другой комнаты, спрашивая, что случилось. Оказалось, что я, сам не замечая того, со слезами в голосе кричал и махал руками на своего приятеля. Я кричал: «так нельзя жить, нельзя так жить, нельзя!» Меня устыдили за мою ненужную горячность, сказали мне, что я ни о чем не могу говорить спокойно, что я неприятно раздражаюсь, и, главное, доказали мне то, что существование таких несчастных никак не может быть причиной того, чтобы отравлять жизнь своих близких.

Я должен был согласиться, что это справедливо, и замолчал; но в глубине души я чувствовал, что и я прав, и не мог успокоиться.

И прежде уже чуждая мне и странная городская жизнь теперь опротивела мне так, что все те радости роскошной жизни, которые прежде мне казались радостями, стали для меня мучением. И как я ни старался найти в своей душе хоть какие-нибудь оправдания нашей жизни, я не мог без раздражения видеть ни своей, ни чужой гостиной, ни чисто, барски накрытого стола, ни экипажа, сытого кучера и лошадей, ни магазинов, театров, собраний. Я не мог не видеть рядом с этим голодных, холодных и униженных жителей Ляпинского дома. И не мог отделаться от мысли, что эти две вещи связаны, что одно происходит от другого. Помню, что как мне сказалось в первую минуту это чувство моей виновности, так оно и осталось во мне, но к этому чувству очень скоро подмешалось другое и заслонило его.

Когда я говорил про свое впечатление Ляпинского дома моим близким друзьям и знакомым, все мне отвечали то же, что и мой первый приятель, с которым я стал кричать; но, кроме того, выражали еще одобрение моей доброте и чувствительности и давали мне понимать, что зрелище это так особенно подействовало на меня только потому, что я, Лев Николаевич, очень добр и хорош. И я охотно поверил этому. И не успел я оглянуться, как, вместо чувства упрека и раскаяния, которое я испытал сначала, во мне уже было чувство довольства перед своей добродетелью и желание высказать ее людям.

Должно быть, в самом деле, говорил я себе, виноват тут не я собственно своей роскошной жизнью, а виноваты необходимые условия жизни. Ведь изменение моей жизни не может поправить то зло, которое я видел. Изменяя свою жизнь, я сделаю несчастным только себя и своих близких, а те несчастья останутся такие же.

И потому задача моя не в том, чтобы изменить свою жизнь, как это мне показалось сначала, а в том, чтобы содействовать, насколько это в моей власти, улучшению положения тех несчастных, которые вызвали мое сострадание. Всё дело в том, что я очень добрый, хороший человек и желаю делать добро ближним. И я стал обдумывать план благотворительной деятельности, в которой я могу выказать всю мою добродетель. Должен сказать однако, что и обдумывая эту благотворительную деятельность, в глубине души я всё время чувствовал, что это не то: но, как это часто бывает, деятельность рассудка и воображения заглушала во мне этот голос совести. В это время случилась перепись. Это показалось мне средством для учреждения той благотворительности, в которой я хотел выказать мою добродетель. Я знал про многие благотворительные учреждения и общества, существующие в Москве, но вся деятельность их казалась мне и ложно направленной и ничтожной в сравнении с тем, что я хотел сделать. Я и придумал следующее: вызвать в богатых людях сочувствие к городской нищете, собрать деньги, набрать людей, желающих содействовать этому делу, и вместе с переписью обойти все притоны бедности и, кроме работы переписи, войти в общение с несчастными, узнать подробности их нужды и помочь им деньгами, работой, высылкой из Москвы, помещением детей в школы, стариков и старух в приюты и богадельни. Мало того, я думал, что из тех людей, которые займутся этим, составит постоянное общество, которое, разделив между собой участки Москвы, будет следить за тем, чтобы бедность и нищета эта не зарождались; будет постоянно, в начале еще зарождения ее, уничтожать ее; будет исполнять обязанность не столько лечения, сколько гигиены городской бедноты. Я воображал уже себе, что, не говоря о нищих, просто нуждающихся не будет в городе, и что всё это сделаю я, и что мы все, богатые, будем после этого спокойно сидеть в своих гостиных и кушать обед из 5 блюд и ездить в каретах в театры и собрания, не смущаясь более такими зрелищами, какие я видел у Ляпинского дома.

Составив себе этот план, я написал статью об этом и, прежде еще, чем отдать ее в печать, пошел по знакомым, от которых надеялся получить содействие. Всем, кого я видал в этот день (я обращался особенно к богатым), я говорил одно и то же, почти то же, что я написал потом в статье; я предлагал воспользоваться переписью для того, чтобы узнать нищету в Москве и помочь ей делом и деньгами, и сделать так, чтобы бедных не было в Москве, и мы, богатые, с покойной совестью могли бы пользоваться привычными нам благами жизни. Все слушали меня внимательно и серьезно, но при этом со всеми без исключения происходило одно и то же: как только слушатели понимали, в чем дело, им становилось как будто неловко и немножко совестно. Им было как будто совестно и преимущественно за меня, за то, что я говорю глупости, но такие глупости, про которые никак нельзя прямо сказать, что это глупости. Как будто какая-то внешняя причина обязывала слушателей потакнуть этой моей глупости.

— Ах, да! Разумеется. Это было бы очень хорошо, — говорили мне. — Само собой разумеется, что этому нельзя не сочувствовать. Да, мысль ваша прекрасна. Я сам или сама думала это, но... у нас так вообще равнодушны, что едва ли можно рассчитывать на большой успех... Впрочем, я с своей стороны, разумеется, готов или готова содействовать.

Подобное этому говорили мне все. Все соглашались, но соглашались, как мне казалось, не вследствие моего убеждения и не вследствие своего желания, а вследствие какой-то

внешней причины, не позволявшей не согласиться. Я заметил это уже потому, что ни один из обещавших мне свое содействие деньгами, ни один сам не определил суммы, которую он намерен дать, так что я сам должен был определить ее и спрашивать: «так могу я рассчитывать на вас до 300, или 200, или 100, 25 рублей?», и ни один не дал денег. Я отмечаю это потому, что когда люди дают деньги на то, чего сами желают, то, обыкновенно, торопятся дать деньги. На ложу Сарры Бернар сейчас дают деньги в руки, чтобы закрепить дело. Здесь же из всех тех, которые соглашались дать деньги и выражали свое сочувствие, ни один не предложил сейчас же дать деньги, но только молчаливо соглашался на ту сумму, которую я определял. В последнем доме, в котором я был в этот день вечером, я случайно застал большое общество. Хозяйка этого дома уже несколько лет занимается благотворительностью. У подъезда стояло несколько карет, в передней сидело несколько лакеев в дорогих ливреях. В большой гостиной, за двумя столами и лампами, сидели одетые в дорогие наряды и с дорогими украшениями дамы и девицы и одевали маленьких кукол; несколько молодых людей было тут же, около дам. Куклы, сработанные этими дамами, должны были быть разыграны в лотерею для бедных.

Вид этой гостиной и людей, собравшихся в ней, очень неприятно поразил меня. Не говоря о том, что состояние людей, собравшихся здесь, равнялось нескольким миллионам, не говоря о том, что проценты с одного того капитала, который был затрачен здесь на платья, кружева, бронзы, брошки, кареты, лошадей, ливреи, лакеев, были бы во сто раз больше того, что выработают все эти дамы, — не говоря об этом, те расходы, поездки сюда всех этих дам и господ, перчатки, белье, переезд, свечи, чай, сахар, печенье хозяйке стоили в сто раз больше того, что здесь сработают. Я видел всё это и потому мог бы понять, что здесь-то я уж не найду сочувствия своему делу; но я приехал, чтобы сделать свое предложение, и, как ни тяжело мне это было, я сказал то, что хотел (я говорил почти всё то же, что написал в своей статье).

Из бывших тут людей одна особа предложила мне денег, сказав, что сама по бедным итти не чувствует себя в силах по своей чувствительности, но денег даст; сколько денег и когда она доставит их, она не сказала. Другая особа и один молодой человек предложили свои услуги хождения по бедным; но я не воспользовался их предложением. Главное же лицо, к которому я обращался, сказало мне, что нельзя будет сделать многого, потому что средств мало. Средств же мало потому, что богатые люди Москвы все уже на счету и у всех выпрошено всё, что только можно, что уже всем этим благотворителям даны чины, медали и другие почести, что для успеха денежного нужно выпросить какие-нибудь новые почести от властей и что это одно действительное средство, но что это очень трудно.

Вернувшись домой в этот день, я лег спать не только с предчувствием, что из моей мысли ничего не выйдет, но со стыдом и сознанием того, что целый этот день я делал что-то очень гадкое и стыдное. Но я не оставил этого дела. Во-первых, дело было начато, и ложный стыд помешал бы мне отказаться от него; во-вторых, не только успех этого дела, но самое занятие им давало мне возможность продолжать жить в тех условиях, в которых я жил; неуспех же подвергал меня необходимости отречения от своей жизни и искания новых путей жизни. А этого я бессознательно боялся. И я не поверил внутреннему голосу и продолжал начатое.

Отдав в печать свою статью, я прочел ее по корректуре в Думе. Я прочел ее, краснея до слез и запинаясь: так мне было неловко. Так же неловко было, я видел, и всем слушателям. На вопрос мой по окончании чтения о том, принимают ли руководители переписи предложение мое оставаться на своих местах, для того чтобы быть посредниками между обществом и нуждающимися, произошло неловкое молчание. Потом два оратора сказали речи. Речи эти как бы поправили неловкость моего предложения; выражено было мне сочувствие, но указано было на неприложимость моей одобряемой всеми мысли. Всем стало легче. Но когда я потом, всё-таки желая добиться своего, спрашивал у руководителей порознь: согласны ли они при переписи исследовать нужды бедных и оставаться на своих местах, чтобы служить посредниками между бедными и богатыми, им всем опять стало неловко. Как будто они взглядами говорили мне: ведь вот смазали из уважения к тебе твою глупость, а ты опять с ней лезешь! Такое было выражение их лиц; но на словах они сказали мне, что согласны, и двое из них, каждый порознь, как будто сговорились, одними и теми же словами сказали: «мы считаем себя нравственно обязанными это сделать». То же самое впечатление произвело мое сообщение и на студентов-счетчиков, когда я им говорил о том, что мы во время переписи, кроме цели переписи, будем преследовать цель благотворительности. Когда мы говорили про это, я замечал, что им как будто совестно смотреть мне в глаза, как совестно смотреть в глаза доброму человеку, говорящему глупости.

Такое же впечатление произвела моя статья на редактора газеты, когда отдал я ему статью, на моего сына, на мою жену, на самых разнообразных лиц. Всем почему-то становилось неловко, но все считали необходимым одобрить самую мысль, и все тотчас после этого одобрения начинали высказывать свои сомнения в успехе и начинали почему-то (но все без исключения) осуждать равнодушие и холодность нашего общества и всех людей, очевидно кроме себя.

В глубине души я продолжал чувствовать, что всё это не то, что из этого ничего не выйдет; но статья была напечатана, и я взялся участвовать в переписи; я затеял дело, и дело само уж затянуло меня.

---

Версия #1

Зверобой создал 28 марта 2025 08:15:34

Зверобой обновил 28 марта 2025 08:15:47